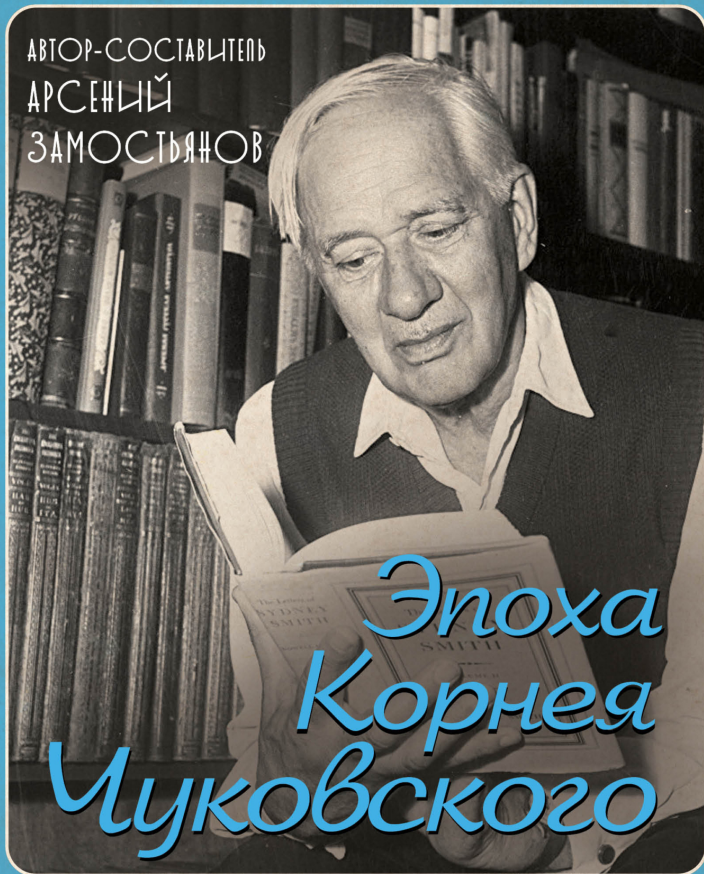


КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

*Писательский талант
состоит в умении выбрать
верное слово и поставить
его на верное место.*

К. Чуковский

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
АРСЕНИЙ
ЗАМОСТЬЯНОВ



Эпоха
Корнея
Чуковского

Сборник
Арсений Александрович Замостьянов
Эпоха Корнея Чуковского.
Серия «Культурный слой»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68729199

Эпоха Корнея Чуковского / Замостьянов А.А.: Родина; Москва; 2022

ISBN 978-5-00180-757-5

Аннотация

В этом году мы отмечаем 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского – писателя, которого в нашей стране знают все. И по стихам, и по портретам, и по статьям, и по шуткам... Тем ценнее воспоминания о нём и те статьи, которые сыграли важную роль в жизни писателя – и «ругательные», и восторженные. Эта книга раскрывает извивы и тайны судьбы рыцаря русской литературы, великого сказочника и знатока словесности. Раскрывает его мир.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Арсений Замостьянов	5
Незаконнорожденный	8
Критик номер один	9
Крокодил Крокодилович	12
Кто же был Тараканом?	15
Мещанские сказки	16
Разбитый антифашист	18
Патриарх из Переделкина	19
Оксфордская мантия	22
Роковой укол	25
Наследие	26
Леонид Гроссман	29
Василий Розанов	44
Александр Блок	49
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Арсений Замостьянов Эпоха Корнея Чуковского



© Замостьянов А.А., 2022

© «ТДА», 2022

© ООО «Издательство Родина», 2022

Арсений Замостьянов

Планета Корнея Чуковского

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!

Вся страна с довоенных лет, с 1930-х, знала назубок этот звучный псевдоним – Корней Чуковский! Знали его и по имени-отчеству: Корней Иванович. Для широкой аудитории – всеобщий дедушка, для литературного мира – сначала анфан террибль, а потом – патриарх. Второго такого не будет. Единство противоположностей – вольный и дидактичный, категоричный и терпимый, мятежный и консервативный. И народник некрасовского образа, и жрец интеллигенции как некоего рыцарского ордена. Если у кого и стоит учиться нынешним литераторам, то именно у него. Чуковский – настоящий символ литературного профессионализма. Айболит и Бармалей в одном лице, колдун и богатырь, никогда не дававший слабину. Чуковский – не самый честолюбивый писатель своего времени. Все страсти в нём затмевало трудо-

любие.

Между тем, именно его до сих пор многие читатели (в том числе – дети) помнят, как родного. Таков феномен «дедушки Корнея». Его любили художники и фотографы. Говорят, что Ханс Кристиан наш Андерсен (а Чуковского иногда называли советским Андерсеном, хотя их мало что сближает!) страстно любил фотографироваться. Фиксировал себя, как инстаграмщица. А Чуковский сам не слишком стремился под обстрел фотокамер, но художники превратили его облик в художественный образ. Не счесть эпиграмм на Чуковского и шуточных посланий мэтру. В истории он остался в ореоле литературной игры.



Корней Чуковский

Николай Корнейчуков так никогда и не узнал своего отца. Зато вся Россия, да и весь Советский Союз знал его громкий литературный псевдоним – Корней Иванович Чуковский.

Незаконнорожденный

Он родился в семье служанки. По-видимому, от ее связи с хозяином – купцом Эммануилом Левенсоном. Писатель вспоминал: «у меня никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед». Он считался незаконнорожденным и не имел права даже на официальное отчество. Отдушину и спасение Николай нашел в словесности. Увлёкся литературой, выучил английский язык, научился писать бойкие статьи. Журналистика позволила ему переехать в столицу, стать скандально знаменитым, войти в круг писателей и художников, перед которыми он преклонялся, хотя и не безоглядно.

Критик номер один

Самонадеянный одессит быстро стал самым популярным и скандальным петербургским литературным критиком, который не жалел авторитетов, иногда – ради сенсации. В то время он и представить не мог, что станет знаменитым детским поэтом. Его статьи прибавляли журналам рентабельности, он, что называется, давал кассу. Но и ненавидели его многие. Например, революционный публицист Лев Троцкий, тогда еще не примкнувший к большевикам, посвятил Чуковскому целую разоблачительную статью. Да и потом, придя к власти, нарком Троцкий найдет время, чтобы ударить по Чуковскому своим саркастическим коммунистическим пером. Придет время – и ненависть Троцкого станет для Корнея Ивановича спасительной. Его никогда и никто не заподозрит в троцкизме.

Он выпустил несколько сборников своих статей – «От Чехова до наших дней» (1908), «Нат Пинкертон и современная литература» (1908), «Леонид Андреев большой и маленький» (1908), «Матерям о детских журналах» (1911), «Критические рассказы» (1911), «Лица и маски» (1914). Всё это читали, обсуждали, проклинали. И многое, конечно, брали на вооружение.

Трудно не подражать его публицистической манере. Как он начинает каждую статью, как берет быка за рога. Он бы-

вал излишне категоричен и скор на расправу. Но никто, кроме Чуковского, не разглядел в десятые годы зарождение эпохи массовой культуры. Он не боялся посмеиваться над Горьким и Андреевым, он с тяжёлой артиллерией атаковал Чарскую... Атаковали и его. И не только Троцкий, ненависть которого стала для Чуковского своего рода охранной грамотой в 1930-е:

Надравши стружек кстати и некстати.
Потопчется еще с полсотни строк:
То выедет на английской цитате,
То с реверансом автору даст в бок.
...Post scriptum. Иногда Корней Белинский
Сечет господ, цена которым грош!
Тогда гремит в нем гений исполинский
И тогой с плеч спадает макинтош!..

Это Саша Чёрный, примерно 1911 год. Между тем, откроет Сашу Чёрного для советских читателей именно Чуковский...

В русской эссеистике и критике XX века есть несколько заразительных интонаций. Розановская, цветаевская, шкловская... Есть и корнеевская. У Чуковского сподручнее учиться: он не подавляет. И, например, Станислава Рассадина или Сергея Чуприна можно считать критиками школы Чуковского, хотя общего между ними, на беглый взгляд, немного. Чуковский рассуждал в излюбленной парадоксаль-

ной манере: «Быть неоригинальным писателем – это быть мошенником. Талант посмотрит на любую вещь – и в каждой он найдёт новую черту, новую сторону, старое чувство он перечувствует по-новому». Почти всё, что он написал, отмечено узнаваемым стилем мастера. Не раз Чуковский признавался, как непросто ему давалось это стремление к оригинальности. Сколько ежедневного труда стояла за его обаятельной раскованностью. И это усердие, на мой взгляд, только усиливает обаяние.

Крокодил Крокодилович

Чуковский умел шутить, знал толк в розыгрышах – как-никак, он родился в Одессе. Корней Иванович – как настоящий артист – на публике выглядел остроумным и легким даже, когда на душе скребли кошки. А ему приходилось страдать то из-за хронической бессонницы, то из-за болезней детей... Ведь у Чуковского рано образовалась большая семья.

Умение писать шутливые стихи однажды помогло ему утешить тяжело больного сына: он стал на ходу сочинять в рифму сказку про Крокодила Крокодиловича, который «по Невскому ходил, по-турецки говорил» и про храброго Ваню Васильчикова, который спас Петроград от этого опасного зверя. Так появилась сказка «Крокодил», перевернувшее представление русских детей о литературе. Оказывается, она может быть не поучительной, не сентиментальной, а дерзкой, веселой, фантастичной. Чуковский позаимствовал некоторые приемы у любимых им англичан: в его сказках много словесной игры, «перепутаницы», необыкновенных сравнений... Вслед за «Крокодилом» появились «Бармалей» и «Айболит», а потом и другие сказки, по которым несколько поколений детей учились читать. Чуковский прививал вкус к русской речи – через игру, через страшилки и дразнилки. Его знали наизусть те, кто еще не умел читать. Чуковского, как правило, читали вслух. Декламировали, ра-

дуясь каждой неожиданной рифме, ужасаясь его кровожадным злодеям... До него ни одному поэту такое не удавалось.

Чуковский больше всего гордился, что возвращал в детях чувство языка и остроумие. Умение мыслить свободно, играючи. Он любил порассуждать о своём ремесле. «Задача немалая: воспитать в ребёнке юмор – драгоценное качество, которое, когда ребёнок подрастёт, увеличит его сопротивление всякой неблагоприятной среде и поставит его высоко над мелочами и дразгами», – писал Чуковский. Эти боевые позиции он отстаивал десятилетиями, как непобедимый доктор Айболит. Бурно, темпераментно, с язвительными аттракционами.

Чуковский был крайне не богемным человеком. Рано пытался лечь спать, а точнее – мучиться бессонницей. Избегал попок, да и вообще – любых праздников и застолий. Просто презирал такое времяпровождение. Но – своим своеобразным представлениям об этике литературной жизни он следовал всегда. И до последних дней находил время, чтобы поздравить отличившуюся редакцию с достойной публикацией. А скольким способным авторам он говорил: «Старик Чуковский вас заметил и, в гроб сходя, благословил»? И не считать, потому что жил Корней Иванович долго.

Ещё одна его вечная привычка, ставшая литературным памятником – альбом, а точнее – рукописный альманах «Чукоккала», в котором сохранились автографы десятков выдающихся писателей, художников, музыкантов. И каждый

пытался отличиться шуткой, экспромтом. 55 лет Чуковский вёл этот альбом, название которому дал Илья Репин. Равных этому альбому в рукописном жанре нет. Мастер и знаток отточенного литературного юмора, Чуковский осознавал, какое богатство он накопил.

Кто же был Тараканом?

Весной 1921 года Чуковский написал сказку «Тараканище», через полтора года ее удалось опубликовать. Дети быстро выучили наизусть бойкие стихи: «А за ним комарики на воздушном шарике». Сказка учила, что инициативная храбрость и всеобщее сплочение могут победить зло. Но просматривался и потаенный смысл. Много лет спустя самые въедливые читатели стали находить в этом сюжете намек на Сталина, советского Бонапарта, диктатора которому подчинились все «раки на хромой собаке». Сталин действительно был рыжим и усатым. Но в 1921 году в нем мудрено было разглядеть будущего лидера. Зато бонапартистскую активность проявлял другой усач и давний противник Чуковского – Лев Троцкий. Современники считывали этот намек. Именно поэтому, когда Сталин придет к власти, а Троцкий станет изгнанником революции, сказку вовсе не запрещали. Наоборот – часто переиздавали, а в 1927 году даже сняли по ней мультфильм. Как раз в то время в стране усилилась борьба с троцкизмом... А Сталин даже несколько раз цитировал «Тараканище» в официальной полемике. Видимо, Чуковский ему нравился.

Мещанские сказки

Впрочем, критиков у поэта хватало. Первой из них оказалась Надежда Крупская – не только жена, а после вдова основателя советского государства, но и крупный чин в наркомате Просвещения, неформальный лидер пионерского движения, куратор школы... Ей особенно не понравились сказки «Крокодил», «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха». Она обвиняла Чуковского в прославлении мещанского быта и даже в любви к частной собственности. Словом, в безыдейности. В этих сказках и впрямь не было ничего о строительстве нового мира. Чуковский отбивался: его стихи предназначены для совсем маленьких детей, которые только учатся познавать мир. Их надо увлечь, как увлекают народные сказки, а политинформации только отпугнут... И все-таки нападки Крупской напугали писателя. Он послал ей покаянное письмо, в котором отрекался от старых сказок и обещал впредь уделять больше внимания идеологии. На склоне лет он называл эту капитуляцию «малодушным поступком».

Но главное, что Чуковский (не в одиночку, конечно) отстаивал право на сказку, хотя сам про всяческих волшебников не писал. Он писал о необычайных приключениях, об ужасах. Предвосхищал приёмы кино. Много, конечно, перенял у англичан, из «Сказок матушки Гусыни» с их игрой слов и вереницей нелепиц:

Замяукали котята:
Надоело нам мяукать!
Мы хотим как поросята – хрюкать!
А за ними и утята:
Не желаем больше крякать!
Мы хотим как лягушата – квакать!

«Путаница» – можно сказать, программное произведение чуковского жанра, настроенного на психологию ребёнка. И он победил. К середине 1930-х педалогические теории были разгромлены, противники сказки оказались, в лучшем случае, в отставке, а то и в лагерях, и можно было свободно писать о волшебствах на советский лад.

Для детей двадцатых-тридцатых годов он был советским Андерсеном – самым главным писателем. Они решительно предпочитали его всем остальным. Почему? Чуковский умел писать захватывающие приключенческие сказки в стихах. Бывал дидактичен, но не утомлял реализмом. Сказка – так сказка, где всё необыкновенно, неожиданно. И появление Агнии Барто, Сергей Михалкова, а чуть раньше – самого Самуила Маршака – это во многом заслуга Чуковского.

Разбитый антифашист

В 1942 году в сказке «Одолеем Бармалея!» он пытался на понятном детям языке рассказать о войне против фашистов, включив в сказку своих всем известных героев – Ваню Васильчикова и разбойника Бармалея. «Правда» откликнулась на эту книгу грозной статей «Пошлая и вредная стряпня Чуковского» – и «припечатала» знаменитого сказочника: «Когда автор захотел связать излюбленные им образы с событиями всемирно-исторического значения, путаница получилась совсем нехорошая». Самое грустное, что критика на этот раз оказалась справедливой, хотя и слишком резкой. Персонажи веселых сказок Чуковского, в которых страшные эпизоды возникали как в детской игре, понарошку, не сочетались с картинами боев Великой Отечественной. Не переиздавали эту сказку лет 60.

Корней Иванович нервно воспринимал крах своих антивоенных сказок. Но критикам не удалось вычеркнуть Чуковского из детской литературы. В библиотеках его книги шли нарасхват, а переиздания раскупались мгновенно. Новых сказок он с 1950-х годов не писал, но для славы хватало и прежних. А потом, на старости лет, пришло и официальное признание.

Патриарх из Переделкина

В последние годы жизни на Чуковского свалились почести. За книгу «Мастерство Некрасова» ему присудили Ленинскую премию – самую престижную в стране, которую можно было получить только раз в жизни. Его книги – детские и не только – постоянно переиздавались. Выходило в свет многотомное собрание сочинений живого классика. Он не занимал официальных постов в Союзе писателей, но считался всесоюзным «дедушкой», патриархом советской литературы. Хотя, когда правнуки называли его дедушкой, Корней Иванович поправлял: «Я – прадедушка». Взрослые удивлялись, а он лукаво улыбался: «А зачем называть генерала полковником?».

Он взрывался, когда замечал богемную леность, неуважительное отношение к литературному труду. В воспоминаниях Маргариты Алигер есть характерный эпизод:

– Отец терпеть не может слова «настроение», – заметил однажды в разговоре сын его, Николай Корнеевич.

Особенно не вдумываясь, я пожала плечами и, вероятно, сразу же забыла об этом разговоре. Но, очевидно, где-то в подсознании моем он сохранился, и я мгновенно вспомнила о нем, когда однажды на вопрос Корнея Ивановича о моей работе ответила, что мне не работается, почему-то нет настроения.

– Ах, у вас нет настроения? Вот как! – переспросил Чуковский таким елейно-вкрадчивым голосом, что я сразу почувствовала недоброе. – Нет настроения и вы не работаете? Можете себе это позволить? Богато живете! – Голос его все набирал и набирал высоту, и я вся напряглась, понимая, что самое страшное еще впереди. – А я ведь, признаться, думал, что вы уже настоящий профессионал, работающий прежде всего и независимо ни от чего. И разговаривал с вами как с истинным профессионалом, доверительно и надеясь на полное понимание даже с полуслова. Как я ошибся! Как я жестоко ошибся! Просто способная литературная дама с настроениями! Ах, я, старый дурак! – вопил Чуковский. – Ай-ай-ай! И часто это с вами бывает? Настроения! Скажите, пожалуйста! Ну ладно, тогда пошли отсюда, из моего кабинета. Нечего тут делать с настроениями. Раз уж настроения, то идемте вниз, на терраску. Пить чаек! С вареньем и с печеньем! Дамы любят варенье и печенье...

Тут нас, слава богу, кто-то перебил, и Корней Иванович немного отвлекся. А когда мы снова остались вдвоем, он сказал очень просто, серьезно и спокойно:

– Я на вас тут накричал, но извиняться и не подумаю. Просто я забыл, что вы еще молодая, – очень уж всерьез вас воспринимаю.

– Не такая уж и молодая, – осмелилась возразить я.

– Однако достаточно молодая, чтобы надеяться, что это пройдет. Пройдет, пройдет, я в этом уверен. Хотите, я про-

читаю вам статейку, которую накропал сегодня утром?
Таков его символ веры.

Оксфордская мантия

Читатель этой книги обязательно приметит, что Чуковскому повезло с мемуаристами. Первый сборник воспоминания о нём вышел давным-давно, в середине семидесятых, вскоре после смерти героя (1969), там много фигур умолчания (довоенная борьба за сказку, Крупская, Солженицын, политическая круговерть вокруг Лидии Корнеевны), но книга получилась одна из лучших в своем жанре. Она – как лекарство от разочарования в литературе...

Дневники Корнея Чуковского, изданные гораздо позже – богатый, но коварный источник. Безоглядно доверять им нельзя. Наедине с самим собой он любил пожаловаться на судьбину. А сам снова и снова впрягался в очередную литературную работу. Даже на девятом десятке. А, если брался за новую работу – значит, верил в нее. Если знакомиться с Чуковским только по дневнику – нипочём не догадаешься, что автор был популярнейшим детским поэтом, влиятельным критиком, лауреатом Ленинской премии, что по его книгам снимались популярные мультипликационные и художественные фильмы...

На своей даче в Переделкине (Чуковский был одним из первых обитателей этого писательского поселка) он принимал и иностранных гостей, и молодых писателей. Каждый хотел получить от него благословение. Для тех, кого Корней

Иванович особо уважал, он доставал огромную коробку ди-ковинных конфет – и угощал редким фигурным шоколадом. А за удачную публикацию мог низко поклониться перед молодым писателем со словами: «Старик Чуковский вас заметил и, в гроб сходя, благословил». В 1962 году, в Оксфорде, он получил почетную степень доктора литературы. И потом, в переделкинском кабинете, любил эпатировать посетителей, надевая британскую мантию и треуголку. А иногда примерял облачение вождя американских индейцев, среди которых у него тоже нашлись поклонники. Чуковский любил превращать будни в театр. Пожалуй, в те годы он был счастлив: перед ним преклонялись, выходили в свет его новые книги, переиздавались старые.

Писательница Наталия Ильина – почти не уступавшая Чуковскому в остроумии – вспоминала: «Облачившись в мантию, Корней Иванович изображал нам оксфордскую церемонию, цитировал по памяти адрес, который читали ему и в котором ему было дано шутливое звание *Cornelius atque Crocodilus*». Чуковскому нравилось, что его удостоили тургеневских почестей не только за мудрёные изыскания о Некрасове, но и за отчаянное литературное хулиганство времен подзабытой Первой мировой...

Правда, в последние годы жизни Чуковский разочаровался в социалистической идее. Слишком многое в советской реальности его раздражало – а особенно казарменная цензура. Не потому ли он приютил на своей даче опального Алек-

сандра Солженицына?

Роковой укол

Корнея Ивановича считали убежденным долгожителем, восхищались его жизненной силой, его артистизмом, который не иссяк и на девятом десятке. Он пережил своих детей и в 87 лет заразился вирусной желтухой – по-видимому, из-за нелепой ошибки медсестры, которая плохо продезинфицировала шприц... А писал он до последних дней. «В России надо жить долго. Интересно!» – такое было кредо у Корнея Чуковского. Самого ироничного патриарха русской литературы.

Наследие

Что же из написанного Чуковским особенно интересно в наше время? Ответ прозвучит, быть может, примитивно: всё, почти всё. Вовсе не только детская поэзия, как это, быть может, казалось при жизни Корнея Ивановича. Но и ранние дерзновенные статьи, и монументальное «Мастерство Некрасова» – всё это написано азартно, спорно и мудро.

Он всю жизнь работал над несколькими исследовательскими направлениями одновременно, так уж привык. Писал о переводах, о гибкости русского языка, о детской психологии. Наконец, сочинял свои знаменитые сказки в стихах и переводил зарубежную классику, в том числе – «для детей и юношества». А еще – критика. Несомненно, огромную ценность представляют и дневники Чуковского. И все это писалось одновременно, но – шаг за шагом. Таков был его метод. Начинал со статьи или с тоненькой брошюры. Потом лет десять дополнял, собирал материал. Истинный рыцарь литературоцентризма (наверное, Чуковскому не понравилось бы это канцелярское слово, но мы-то, увы, ко всякому привыкли), он говорил почти без иронии: «Нет лучшей религии, чем русская литература». А ведь и вправду нет! И он становился строгим и серьезным, когда считал, что оскорблена профессиональная честь писателя. Итог этого максимализма – десяток увесистых томов, которые будут читать и перечиты-

вать при любой власти, при любой эстетической моде.

Воспоминания о Чуковском, его рассуждения о литературе, без преувеличений, драгоценны. Сквозь дразги, кампании и литературные драки вырисовывается замечательный образ весёлого и трудолюбивого человека. Никто так, как он, не «заражает» словесностью. Даже, когда Корней Иванович несправедлив, он остается рыцарем своего ремесла.

Чуковского нельзя политизировать. Он бывал и демократом, и критиком как царской, так и советской России. Бывало, восхищался Сталиным, бывало, проклинал его. Иногда критиковал, иногда привечал так называемых «диссидентов». По-разному оценивал миссию русской интеллигенции, к которой, несомненно, себя относил. Его политические высказывания артистически противоречивы. Но всё это не так важно – по сравнению с его служением литературе. Он тем и важен, что верил, по большому счету, не в политические идеалы, а в словесность, в просвещение, в силу языка. И был, судя по всему, не столь уж наивен.

В этой книге мы поместили и критические статьи, направленные против Чуковского, и отклики единомышленников писателя, и воспоминания его спутников разных лет. Вы найдёте здесь и скандальные материалы Надежды Крупской, Клавдии Свердловой и Сергея Бородина, после которых писателю пришлось пережить опальные дни. И тонкие заметки Евгения Шварца, который некоторое время был секретарем Чуковского и написал о нём пристрастно и талантливо.

во, и воспоминания Наталии Ильиной, которая не скрывала восторженного отношения к переделкинскому патриарху советской литературы. Чуковскому близок юмор Ильиной – вы обязательно почувствуете это родство. Важной для всеобщего признания Чуковского стали статьи Веры Смирновой, взявшей под защиту писателя «по всем пунктам обвинений», которые звучали в разные годы. Словом, мы предлагаем вам пёстрый ряд статей и воспоминаний, посвящённых выдающемуся мастеру словесности. Поэту, критику, мемуаристу. Все вместе эти литературные осколки составляют мир Чуковского.

Леонид Гроссман

Пинкертон критики

1

Когда Чернышевский принимался за писания своего знаменитого публицистического романа, он решил каким-нибудь особенным способом привлечь читающую публику к чтению своего произведения. И начал он свой «рассказ о новых людях» умышленно взятым тоном сенсационного бульварного романа, с первых же строк поднося читателю таинственное и мрачное событие с загадочным самоубийцей и полицейскими чиновниками. И только рассказав в деталях, напоминающих романы Эжена Сю, о необыкновенном ночном приключении на Литейном мосту и указав на романтическую подкладку всего сюжета, Чернышевский неожиданно меняет тон и заявляет читателю, что все начало повести — не более, как военная хитрость с целью привлечь нечуткую читающую публику. Писатель, по его словам, должен иногда забрасывать в читательскую среду подобную «удочку с приманкой эффектности».

Этому совету Чернышевского постоянно следует г. К. Чуковский. Почти каждая его критическая статья начинается

каким-нибудь занимательным эпизодом, анекдотом или просто каламбуром, которые привлекают внимание читателя и вводят его в непосредственно следующие критические страницы, как таинственное самоубийство первой главы романа Чернышевского привлекает читателя к чтению всего публицистического произведения.

Вся разница в том, что г. Чуковский менее доверяет своему читателю, чем автор «Что делать?» Быть может, причиной этого является разница в психологии читателя 60-х годов прошлого века и первого десятилетия нынешнего. Во всяком случае, Чернышевский один только раз, в начале своего романа, прибегает к этому коварному способу вербовки читателя. Чуковский же, опасаясь, что на нынешнюю публику необходимо постоянное воздействие, не перестает забрасывать «удочку с приманкой эффектности» и пересыпает всю свою статью занимательными отступлениями, так что читатель не успевает еще утомиться от чтения одной странички отвлеченной критики, как уже может отдохнуть на забавном анекдоте, – и, улыбнувшись, со свежими силами приниматься за чтение нового критического пассажа.

Ни одной статьи нет у г. Чуковского без подобных занимательных иллюстраций.

«И я! и я! – тоненьким голоском кричал рыжий, пускаясь за ним вслед. – И я! и я!...» Так начинается статья г. Чуковского о молодых поэтах.

«По-моему, Горький – сын консисторского чиновника. Он

окончил харьковский университет и теперь состоит – ну хотя бы кандидатом на судебные должности... По воскресным дням посещает кинематограф...» Так завлекает г. Чуковский читателя в свою статью о Горьком.

«Если капнуть чернилами на листок бумаги и потом сложить его вдвое, то получится справа и слева по одинаковому пятну, и оба они будут друг к дружке вверх ногами...» Это – цитата из статьи г. Чуковского о Мережковском.

А вот начало его последней критической статьи о современной литературе и Нате Пинкертоне: «У одной бедной женщины дочь была старая дева. Она очень тосковала без мужа. Вдруг объявление в газетах: дамы, у которых есть незамужние дочери, приглашаются сегодня в манеж, где между ними состоятся скачки с препятствиями» и пр.

Ну у кого после подобного начала хватит духу преодолеть любопытство и не стараться разрешить мучительно интригующий вопрос: да какое же отношение скачка матерей старых дев имеет к русской литературе, хотя бы и современной?..



Корней Чуковский. Молодые годы

И, конечно, читатель, заинтригованный этим экстравагантным началом, не оторвется от чтения статьи, пока не разрешит занимающего его вопроса. А там, как только найдется разгадка, подоспеет новый ребус не менее занимательно-го свойства, — и так, бродя от одного развлечения к другому, читатель незаметно пробежит всю критическую статью.

Впрочем, вряд ли он пожалеет об этом.

В промежутках между двумя забавными коленцами он всегда найдет меткую характеристику данного автора или же

остроумный синтез пестрых явлений текущей литературы. То попадется ему блестящий психологический очерк, то язвительный памфлет, то едкий полемический отрывок, то, наконец, просто ценное литературное исследование, каким является статья г. Чуковского о Шелли и Бальмонте.

Но все это всегда неизменно проходит между двумя шаловливыми вспышками, между двумя комическими «морсо», все назначение которых привлечь к себе внимание жалкого современного читателя — того хама, грядущего ото всюду, того всемирного хулигана, того многомиллионного сплошного готтентота, о котором говорит г. Чуковский в своей последней статье.

2

«Многомиллионному готтентоту нужен Бог. Ему нужен вождь, за которым идти, ему нужен герой, пред которым склониться. Самим Богом предназначено, чтобы он своим идолом, своим героем, своим вождем и своим идеалом избрал гороховое пальто сыщика Ната Пинкертон...» Разнообразны народные идеалы в различные эпохи! «Но шпиона, — продолжает г. Чуковский, — не сыщика, но гороховое пальто мы могли избрать в вожди и герои только теперь, при миллионном всемирном готтентоте».

И г. Чуковский разворачивает пред нами интереснейшую эволюцию. Он рассказывает о том, как обаятельный Шерлок

Холмс, этот продукт милого старого британского мещанства, создавшего Диккенса и Спенсера; тот самый Шерлок Холмс, который читает Петрарку, слушает Саразате и цитирует переписку Флобера с Жорж Занд, за три-четыре года превращается в готтентота, в кулачного бойца, в Ната Пинкертона, у которого все сводится к оплеухе и зуботычине.

Этот Нат Пинкертон, по мнению г. Чуковского, – позорный символ нашей эпохи. Он реет над нею, как некий демон. Он и в политике, он и в публицистике, и в поэзии, и в литературе.

– Ну а в критике тоже царит Пинкертон? – вправе спросить читатель у г. Чуковского.

Но ответ на этот вопрос следует искать не в статье «Нат Пинкертон и современная литература», хотя и здесь он имеется налицо. К. Чуковский дал его гораздо раньше и сделал это самым непредвиденным образом.

В предисловии к третьему изданию своей книги «От Чехова до наших дней» г. Чуковский излагает свое *profession de foi* критика и указывает даже на свой идеал в этой области.

Кого же сделал он своим кумиром и вождем? Белинского и Добролюбова? Лессинга или Берне? Сент-Бева или Жюль Леметра?

Нет, сверх ожидания, ни один из знаменитых критиков всемирной литературы не сделался властителем его дум, его идолом и героем.

«Пинкертоном должен быть критик, – говорит г. Чуков-

ский, — он выслеживает в художнике то, чего художник порою и сам не замечает в себе. А для этого сколько хлопот, беготни, переодеваний, подглядываний, сколько суетливости и настойчивой работы! Для критика, как и для Пинкертона, должен быть ненавистен всякий импрессионизм, всякое суждение по беглым впечатлениям: только факты и только вещественные доказательства должны представлять мы читателю... Поистине хорошим Пинкертоном должен сделаться всякий критик!»

Так отвечает г. Чуковский на поставленный ему выше вопрос. Оказывается, не только политика и поэзия во власти этого чудовищного всепожирающего Молоха современности. Оказывается, и критика наших дней попала в его бездонное чрево, и, может быть, один из самых ярких и, уж во всяком случае, самый типичный ее представитель открыто провозглашает Пинкертона своим богом, воздвигает ему алтарь и воскуряет к его очам фимиам восторженного поклонения!

Зловещее признание! В нем «что-то звучит роковое»... Ведь если г. Чуковский хотел сказать, что критик должен следовать приемам сыщика, ведь мог он для образной иллюстрации этой мысли призвать на помощь очаровательного Шерлока Холмса. Видно, такова уже неумолимая сила жизненной правды! Тот самый г. Чуковский, который вскоре заклеят все проявления текущей жизни одним бранным именем «Нат Пинкертон», не в силах противодействовать

правдивости своей мысли, когда она возводит на воздвигнутый им пьедестал все тот же позорный символ современности.

И не даром затоскует впоследствии г. Чуковский за свои прежние коленопреклонения: «Нат Пинкертон – ведь это зоология!»

И когда г. Чуковский перечисляет имена современных критиков, которые тенденций избегают, как огня, и не знают бывшего фанатизма и сектантства, мы соображаем, что при этом г. Чуковский не назвал своей фамилии исключительно из тех же побуждений, в силу которых Андрей Белый в одной своей критической статье при перечислении всех крупнейших современных поэтов опускает имя Андрея Белого.

3

Есть авторы, к которым применение критической системы г. К. Чуковского дает блестящие результаты. Многие писатели проявляются всецело в какой-нибудь одной характерной черте своего творчества, в том именно, что Чуковский называет их «манией». Отыскать эту характерную черту значит определить все творчество данного автора. И Чуковский с необыкновенным умением открывает и протоколирует все проявления этого типического свойства в творчестве того или иного «маньяка».

В этом отношении необыкновенно удачны его характери-

стики Сологуба, Арцыбашева, Дымова, Куприна. Здесь талант и блестящее остроумие г. Чуковского проявляются во всей своей силе. Его язвительные характеристики, его меткие прозвища срastaются с образами разбираемых поэтов, так что и топором не вырубишь! Невольно вспоминаются слова Гоголя: «Одной чертой обрисован ты с ног до головы!.. Каркнет само за себя прозвище и скажет ясно, откуда вылетела птица...»

И действительно, когда читаешь строфы Георгия Чулкова, невольно вспоминаешь соболезнующее восклицание г. Чуковского:

— Бедная бумага Лолан!

Когда попадаете в журнале стихотворение Рославлева, в сознании мелькает:

— Рыжий человек!..

А при имени Арцыбашева неизбежно возникает образ романиста, который «не хотел и не мог» и все-таки написал роман.

Но есть писатели другого типа, не проявляющиеся всецело в тех характерных черточках, которые, между прочим, свойственны их дарованиям. Сущность их часто не в этом внешнем штрихе, а в других часто глубоко лежащих тайниках. И, кажется, г. Чуковский совершенно не замечает, что эти сокровенные глубины писательской души часто остаются недоступными его взору критика-сыщика, потому что к

ним ведут иные пути и средства, чем «переодевания, подглядывания, хлопоты и беготня». Поглощенный весь своей системой литературного сыска, он часто из-за деревьев не видит леса; он всецело отдается своей погоне за характерными черточками данного лица и, собрав целую коллекцию таких штрихов, не в силах уже уловить общего характера изучаемой им физиономии. Заметное и главное исчезает в наводняющем потоке подмеченных мелочей.

В Лувре есть одна картина Деннера. По свидетельству Тэна, этот художник работал с увеличительным стеклом и употреблял по четыре года на один портрет. В его лицах воспроизведены все мельчайшие морщинки, голубоватые жилки, пробивающиеся сквозь кожу, блеск глаз, в котором отражаются окружающие предметы... Но в общем, замечает Тэн, какой-нибудь размашистый эскиз Ван-Дэйка во сто раз могущественней!

По стопам этого художника следует г. Чуковский. Он игнорирует правило, которое преподнес как-то Шестов одному критику, поймавшему его на противоречии: «Разве так книги читают? По прочтении книги нужно забыть все слова автора и помнить только его лицо».

Наш критик поступает обратно. Он хорошо запоминает слова прочитанного автора, но лицо, но общий характер, но то главное и заветное, что составляет сердцевину души, — порою ускользает от его критического взора.

Его книга о Леониде Андрееве, его характеристики Баль-

монта и Блока не только не исчерпывают творчества этих поэтов, но даже затемняют их истинные облики случайными и неправильными положениями. Говоря о критике г. Чуковского, г. Ал. Вознесенский в своей лекции о новой поэзии остроумно перефразировал парадокс Уайльда: природа часто только служит иллюстрацией к цитатам из поэтов. «Цитаты из поэтов, – заметил г. Вознесенский, – часто только служат иллюстрацией к мнению критика».

Но ярче всего заметна несостоятельность метода г. Чуковского в его остроумной, но поверхностной статье о Мережковском.

Здесь, увлекаясь своим односторонним критическим приговором, он доходит до утверждения, что Мережковскому «чужда душа человеческая и человеческая личность». А происходит это потому, что Чуковский, согласно своей системе, уже раскрыл «манию» Мережковского – его исключительную любовь ко всему искусственному, к архивной и археологической пыли и теперь только стремится иллюстрировать свое открытие обильным ворохом цитат, совершенно забывая, что Мережковскому, этому «тайновижу и фетишистую» вещи принадлежат глубокие слова:

«Что выше – искусство или жизнь, написать поэму или накормить голодного?.. Кто совершенно неспособен отказаться от поэмы, чтобы накормить голодного, тот никогда не напишет прекрасной поэмы. Если нет в жизни такой святыни, ради которой стоило бы пожертвовать искусством, то оно са-

мо немногого стоит».

И, может быть, характеристика Мережковского вышла бы у г. Чуковского полнее и глубже, если бы он вспомнил следующий отрывок из «Вечных спутников», в котором Мережковский, характеризуя людей 19-го века, прежде всего и, может быть, невольно обрисовывает самого себя: «Сквозь самые чуждые и неопытные догматы, сквозь призму мертвых религиозных форм они умеют находить вечно живую красоту человеческого духа...»

Оскар Уайльд говорит в своих «Замыслах» о том, что критики высшего разряда всегда должны быть гораздо образованнее тех, чьи произведения им приходится разбирать: «Критика требует гораздо большей культурности, чем творчество».

Не в этом ли ключ к пониманию поверхностного суждения Чуковского о Мережковском? И не объясняется ли оно тем, что в данном случае критика оказалась несравненно менее культурной, чем творчество разбираемого ею автора?

4

В той же книге Уайльда есть следующий отрывок: «Меня всегда забавляет глупое самомнение тех писателей и художников нашего времени, которые воображают, что главная задача критика болтать об их посредственных произведениях».

ях... Критик рассматривает произведение искусства как исходную точку для нового творчества».

Это могло бы послужить *credo* для всех критиков-импрессионистов, которые в своих статьях пользуются данным автором лишь для того, чтобы проявить себя в патетических и лирических страницах. Уж конечно, монография Верхарна о Рембрандте относится не к истории искусства, а к истории творчества Верхарна; в статье Тургенева о пергамских раскопках археология потонула в субъективной поэзии; статья Бальмонта об Уайльде – чистая лирика; а в очерке Метерлинка об Эмерсоне элемент критики заглушается изложением философии автора этого импрессионистского очерка.

Но г. Чуковский всеми силами отрешивается от прозвища «критик-импрессионист», которое звучит для него, как оскорбление. Он стремится представить читателю не беглые впечатления, а только факты и вещественные доказательства. И, несмотря на это стремление к крайнему объективизму, своими критическими статьями г. Чуковский доказывает, по-видимому, свою солидарность с мнением Уайльда о том, что художественное творчество является исходной точкой для нового творчества критика.

Пусть г. Чуковский не импрессионист, не лирик, не поэт. Его крайне субъективная критика – несомненно, новое творчество, источники которого он находит в современной литературе. Его, конечно, следует отнести не к критикам-разрушителям, а к критикам-созидателям. Разве не творчеством

является это неутолимое изыскание забавных иллюстраций к критическим тезисам, это бесконечное накопление всяких «приманок эффективности», которые наш критик не перестает метать и подбрасывать перед взором читателя, как жонглер свои серебряные шарики.

Жонглер... Право же, этот образ перестал быть оскорбительным с тех пор, как Анатоль Франс рассказал нам обаятельную легенду о том, как в старину один набожный жонглер, попав в монастырь, где все служил Богоматери, стал перед ее алтарем проделывать свои фокусы, потому что иначе он не умел служить ей. И когда монахи завопили о святотатстве, Богородица сошла со ступеней алтаря и отерла краем своей одежды чело утомленного жонглера...

Кому же служит своим жонглированием, своим метанием занимательных эпизодов и веселых цитат г. К. Чуковский? Во имя чего, во имя какой идеи, во имя какого Бога он жонглирует этими блестящими, словно вспыхивающими под солнечными лучами парадоксами и беспрестанно подбрасывает их перед взорами читателя, «как оный набожный жонглер перед готической Мадонной»?..

Мы не беремся ответить на этот вопрос после того, как сам г. Чуковский высказал *en toutes lettres** свое творческое «верую» и возвел собственноручно на алтарь своего поклонения современного читателя в лице Ната Пинкертон.

И, совершив эту канонизацию горохового пальто, г. Чуковский считает себя вправе упрекать современную крити-

ку за отсутствие тенденций, направления, всего бывшего сектантства и фанатизма нашей интеллигенции.

Но неужели права на эти огульные упреки в беспринципности даются жонглеру без Мадонны и критику без догмата одним только обожествлением пресловутого американского сыщика?

Василий Розанов

Обидчик и обиженные

К.И. Чуковский все «подвизается»... На днях он прочел в Литературном обществе лекцию о Гаршине, которая возбудила бурю протестов «на месте преступления», и теперь эта буря перешла в печать. Проф. Батюшков на нее напал, Чуковский ему ответил. Мне хочется сказать два слова о Чуковском, о котором вообще теперь стали много говорить.

Блестящий оратор, чарующая дикция: язвительная, часто умерщвляющая критика. Как о «таком» не говорить... «Ты, батюшка, всех съешь: у тебя аппетит волчий».

Литераторы стали очень бояться Чуковского. «До кого-то теперь дойдет очередь». Все ежатся и избегают быть «замеченными» умным, зорким критиком: «Пронеси мимо»... Но Чуковский зорко высматривает ежащихся.

Он пишет коротко – это сила. Не хлестко – это ново и привлекательно. Глаз его вооружен какой-то сильной лупой, и через нее он замечает смешные качества в писателях, раньше безупречных. Две-три его заметки о В. Поссе заставили просто перестать писать этого ежедневного публициста «Речи». Еще немного, и, пожалуй, Чуковский заставит замолчать даже великого Влад. Азова. Просто ужасы.

А хотел бы я посмотреть единоборство Чуковского с Азо-

вым. У обоих зубы... Не надо ходить на травлю волков.

И притом Чуковский неуязвим: он либерал! Никак нельзя сказать, что «это правительство его подкупило обругать сперва Короленко, а потом Гаршина»... Эту линию Чуковский должен тщательно оберегать: обвинение в «провокации» сторожит его у самой двери... «А, догадались: правительством подкуплен! Эврика!» Это его ждет.

Но и по этой части, кажется, Чуковский силен: он осторожен, бережлив, предусмотрителен. «Съест нас, собака». Литература решительно испугана.

По его адресу шепчут, говорят, выкрикивают в литературных гостиных: «хулиган», «не воспитан», «никого не уважает», «циник»... Из этих эпитетов я хотел бы запомнить только один: «не воспитан»... Действительно, Чуковскому недостает добрых нравов, доброй традиции, доброго повелительного навыка хорошо воспитанного человека. «Колыбельную песню» пела ему не няня, а выли степные волки.

Это есть...

Ну, что же: какого апофеоза удостоился «босьяк» Максим Горький! Друзья, литературные друзья: вы же приветствовали и увенчали М. Горького в повести и рассказе, отчего вам не помириться с К. Чуковским.

– Да, но М. Горький жег других: а этот жжет нас. То – буржуи, а это – мы, бла-а-родные литераторы...

Да, действительно, есть разница: прежде бла-а-родные литераторы всех обижали, а теперь бла-а-родных литераторов

обижают. Нехорошо. Опасно.

Отвратительный пример.

Задел даже Короленку К. Чуковский. Уж на что идеальнейший писатель! Но нашел смешное, притворное, сентиментальное, и так, с такими очевидными доказательствами, что невозможно было не согласиться.

«Бла-а-роднейший: а фальшивит».

– Это черт знает что такое, – ахнула печать. – Этак он, пожалуй, и Скабичевского заденет.

На последнем чтении Чуковский даже «решился на Скабичевского», сказал, что он «бла-ароден, но очень глуп». Публика повскакала со стульев. Я думал, что Чуковского убьют.

Хорошо, что он либерал: а то бы убили.

Непонятно, что будет дальше, если его не убьют. Этак он, отоспавшись крепко, с бодрыми силами, поутру вдруг напишет что-нибудь даже о Михайловском. Т. е. будучи-то либералом и немножечко «босяком»... Но, нет. Чуковский хитер и на Михайловского не решится. «Тогда пиши пропало карьере»...

Какой-нибудь «бла-ароднейший дурак» даже решился бы на Михайловского. Но К. Чуковский «себе на уме» и о Михайловском промолчит. «Своя жизнь дороже».

Когда ругают Чуковского, и я грешным делом поругиваю. «Что ж, против всех не пойдешь», «глас народа – глас Божий». Но про себя я люблю «шествием Чуковского», хотя:

1) Короленку – люблю.

2) Гаршина – еще более.

И Чуковский меня не разочаровывает в них оттого, что я замечаю, что Чуковский все возвращается как-то в мелочах, в истинных, но мелких частях писателя и писательской судьбы и дара. Он подходит к человеку, отвертывает фалду сюртука и кричит всенародно, что у него пуговицы не на месте пришиты, а иногда что и «торчит прорешка», и даже торчит предательский уголок рубашки через него. Все это так. Но ведь суть Короленки и Гаршина не в пуговицах. Роковую сторону Чуковского составляет то, что он никак не может коснуться важного в писателях. Точно тут ему Господь положил «предел»... В Чуковском есть что-то полицейско-надзирательское, роющееся в «документах»: и признаюсь, когда талантливый критик все протоколирует и протоколирует пуговицы, я зажимаю нос и говорю:

– Господи, как дурно пахнет! Это уже от вас, г. критик, а не по причине пуговиц.

Приходит мысль о какой-то всеобщей ванне или «микве», в которой надо бы «очиститься» и литературе, и критике.

Но, пока что роль Чуковского мне представляется очень утилитарною: не навечно, а на некоторые годы... Дело в том, что у нас действительно развелось очень много «бла-а-родных литераторов», сделавшихся таковыми только оттого, что есть существо чернил и есть существо бумаги. «От сочетания чернил и бумаги выходит литература». Это не совсем

так... Словом, есть много писателей, и состоящих только из пуговиц, нашивок, кантиков и вообще всей «сбруи» литератора. «Мундир» есть, а под мундиром души нет. Об этом думалось годы, об этом плакалось годы. Но так как «мундир» был в исправности, то даже не приходило на ум, как же справиться с этим горем, как его вытравить, как его убить. Не приходило самой формулы дела на ум. Все так «безукоризненны», а уж давно одни «мундиры»... Чуковский с каким-то специальным даром, специальной лупою пришел, чтобы сделать это крайне нужное в литературе дело отделения «настоящего» от «ненастоящего»... Тут, может быть, играют положительную и чудную роль даже его отрицательные, антипатичные дары, без которых он не мог бы ничего сделать.

– Да. Я люблю документ. Да, где я копаюсь – нехорошо пахнет. Это моя судьба и, наконец, мой гроб. Но чтобы съесть труп, нужна гиена. Благодарите, люди, что около вас бродит она: иначе вы погибли бы от чумы.

Условие нашего здоровья. И все должны оглянуться с благодарностью на черный путь Чуковского.

Александр Блок

О современной критике

Печальные мысли о состоянии современной литературы приходят в голову очень многим. Едва ли для кого-нибудь составляет секрет то обстоятельство, что мы переживаем кризис. Обольщаться и провозглашать то или иное произведение гениальным приходит в голову только желторотым птенцам нашей критики. С критикой дело обстоит также неблагоприятно.

Удел ее – брюзжать, что-то зачем-то признавать и что-то зачем-то отвергать – очень часто случайно, без всякой почвы под ногами и без всякой литературной перспективы. Вследствие этого получается явление очень нежелательное – критика с предвзятых точек зрения, с точек зрения принадлежности писателя к тому или иному лагерю. Приведу примеры. Вот уже год как занимает видное место среди петербургских критиков Корней Чуковский. Его чуткости и талантливости, едкости его пера – отрицать, я думаю, нельзя. Правда, стиль его грешит порой газетной легкостью, и можно было бы поставить ему в упрек один специальный вопрос, которым он занимался: «бальмонтовский вопрос»; но так давно в «Весах» специальностью Чуковского было развенчивание Бальмонта как переводчика Шелли и Уитмана; я не имею

никаких данных для того, чтобы сомневаться в верности филологических изысканий и сличений текстов, которые были предприняты Чуковским; для меня существует только один неоспоримый факт: небольшая статья Бальмонта об Уитмане и несколько переводов, помещенных им в той же статье («Весы» – июль 1904 г.), запоминаются очень ярко – гораздо ярче, чем многие переводы и статьи самого Чуковского об Уитмане (все не решаюсь повторить имени: Бальмонт пишет «Уольт», Чуковский долго спорил, что надо произносить «Уот», а Вячеслав Иванов, наперекор всем, пишет «Уолт»). Допускаю, что и переводы Чуковского ближе к подлиннику, чем переводы Бальмонта, допускаю, что и облик Уитмана Чуковский передает вернее, чем Бальмонт, но факт остается фактом: переводы Бальмонта (хотя бы и далекие) сделаны поэтом, облик Уитмана, хотя бы и придуманный, придуман поэтом; если это и обман – то «обман возвышающий», а изыскания и переводы Чуковского склоняются к «низким истинам».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.